ЦЕНА 10 КОП.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

МОЛОТ

Журнал ПАЛ



Июнь 28 г.

6(19)

Рис. В. Гильберта.



РАССКАЗ М. КОЛЬЧУГИНА.

ВЕРНУВШИСЬ из столовой, Настя и Симарев застали Мичурина лежащим на койке с закинутыми за голову руками. Мичурин сосредоточенно думал о чем-то, уставив взгляд в потолок.

Веселая и разговорчивая с минуту назад, Настя при виде мужа затихла, и на ее лице легчайшим оттенком скользнула такая же, как и у Мичурина, грустная улыбка.

— Ужинать пойдешь, Гриша?—спросила вполголоса Настя мужа.

— Надо сходить.

Мичурин поднялся на кровати, спустил ноги на пол и оперся руками о колени.

Симарев прошел к столику, уселся на стул и закурил. Он знал, что Мичуриным предстоит завтра утром от'езд из дома отдыха и что после этого супруги не встретятся до следующих каникул. Он смотрел то на Настю, то на Мичурина, и ему думалось: Настя в доме отдыха пополнела, а Мичурин похудал.

Настя, точно угадав его мысли, обратилась к мужу:

— Смотрю я на тебя, Гришка,—уж очень ты стал худ.

— Да ну,—улыбнулся Мичурин.

— Право, знаешь на кого ты похож?

— На кого?

— На туберкулезных, которых на плакатах рисуют,—шутливо рассмеялась она.

— Поправимся,—отозвался Мичурин. Он достал из-под кровати сандалии ногой, всунул в них ноги и нагнулся застегивать ремешки.

Настя подошла к нему ближе и, проведя по его спине ладонью, сказала:

— Позвоночник-то—пила настоящая!

Такие слова Настя говорила часто, и Симарев не мог понять, что ее связывало с мужем. Ей бы очень легко было разойтись с ним и найти другого, по себе. Ведь он совершенно ей не под пару. Высокий, худой, беловолосый, с длинными, чуть не до колен руками. У Насти было полное, загорелое лицо, с всегда смеющимися голубыми глазами. Она носила серенькую кофточку, синюю юбку с чуть светлевшими полосками, и все это облегало ее так хорошо, так ловко, что, казалось, она скрашивала всю комнату.

— Раньше, чем к часу, не ждите меня,—сказал Мичурин, уже одевшись. Я сегодня пойду в театр. Снял кепи, шутливо раскланялся.—Полагаю, что вы опять будете вести свою дискуссию о новом быте и взаимоотношениях между мужчиной и женщиной.

— Надо думать,—ответила Настя.

Студентка Московского зоотехнического института—Настя до приезда в дом отдыха работала на практике в одном из совхозов Калужской губернии, а когда практическая работа закончилась, она погостила у своей тетки-спичечницы в Медыни, а затем переехала к мужу в дом отдыха. Он писал ей, что ему здесь очень хорошо, что он помещается в комнате с хорошим товарищем-писателем Симаревым. Ночевать ей в их комнате будет можно, потому что администрация не обходит по ночам комнат. А если случится—постучат, то можно через окно в бор выпустить хоть сто человек... И вот Настя живет в комнате среди мужчин. Она с первых же дней подружилась с Симаревым. Подолгу гуляли они в бору, толкуя о литературе, современной семье и взаимоотношениях мужчины и женщины, играли в баскет-бол, крокет. Муж Насти на прогулки не ходил, ни во что не играл, даже купался украдкой от других. Настя об'ясняла это сильной тягой его к учению. Сам Мичурин говорил, что дом отдыха для него мука, он не может сидеть без дела и еще хуже заболеет, если перестанет читать или работать над задачами.

Когда Настя с Симаревым заводили свой обычный спор, Мичурин говорил им:

— Люблю ваши дискуссии, но лучше бы вы подискуссировали подальше от меня: не могу усваивать прочитанного, когда около меня шумят.

Он углублялся в книгу, виновато мигая белыми веками.

— Ну, Настенька, теперь давай закурим, — спокойно проговорил Симарев, когда они остались одни.

— Не зови меня так, — взглянула Настя в глаза Симарева, доставая папироску из коробки.

В этом взгляде Симарев уловил новый, необычный огонек, который говорил в то же время за то, что она довольна, когда Симарев называет ее Настенькой.

— Знаешь, Настя, я так привык к тебе, что просто не замечаю, как произношу твое имя.

— Привык... А ты знаешь привычка — та же любовь...

Она говорила раздельно, так как в это время прикуривала от лампы, приподнявшись на цыпочки и вытянув шею. Одной рукой она опиралась на стол, другой придерживала кофточку у груди.

На косматом сосновом валу лежал большой квадрат света от окна. Хвоя была изжелта зеленая и под ветром издавала глухой звон. Густоиглистые лапы сосен ворошились, как живые, то закрывая, то обнажая желтые колонны стволов.

— Такие-то, Митя, дела,—отступила Настя от стола, раскуривая папиросу.

— Я любви не признаю, но что я привык к тебе, как к товарищу, это — неоспоримо. Ты вот завтра уезжаешь, и я тебе должен от чистого сердца сказать, что мало на земле таких милых и хороших людей, как ты! Я вспоминаю нашу первую встречу, когда ты только приехала... Я теперь забыл, о чем мы с тобой говорили. Помню только, что ты сразу налила меня дополна чем-то теплым, товарищеским. Я даже и сейчас удивляюсь, как у нас все пошло гладко и ровно. Ведь, правда, в большинстве люди, привыкая к новому человеку, изыскивают особый тон в разговоре?.. А мы с тобой будто всегда знали один другого и только встретились после долгой разлуки.

Настя прошла к кровати и прилегла, облокотившись на подушку. Она знала, что у Симарева где-то в Тамбовской губернии есть жена с ребенком. Она знала, что Симарев любит свое семейство и ведет беспрерывную переписку с женой, И Симарев знал, что Настя любит своего мужа, болеет за его здоровье и прощает ему и холодность и невнимание в отношении к ней. Оба они спешили кончить учение и стать — Мичурин хорошим агрономом, а Настя — животноводом.

— Друг ты мой, — начала Настя. — Ты думаешь, что во мне нет ничего отрицательного? Конечно, есть. Я бы сказала, что у человека худших сторон больше, чем лучших. В доме отдыха нельзя узнать человека — хороший он или плохой. Сколько мы с тобой времени знакомы? Две недели только. Встречи эти настолько коротки, что не успеть вылить перед человеком хорошего, а у человека, я бы сказала, всегда сначала обнаруживаются хорошие качества души. Да и кроме того мы приехали сюда отдыхать, выбивать из души, я бы сказала, сор, накопившийся за год. Сор я, конечно, подразумеваю в смысле усталости, осадка однообразия. Ведь у нас сейчас ни нужды, ни заботы. Все это куда-то снесено, как ненужные вещи. Ясно, что такие дни никогда не забываются.

Она бросила за окно еще непотухший окурок. Ветер подхватил его, раздул, и в темноту, в бор полетели искры, как золотые стрелы.

С бока бора, за Окой, блеснула молния. На миг в призрачном фиолетовом свете всплыл далекий поокский берег, поросший можжевельником, и косматая опушка бора, уходящая по крутому излучью Оки. Симарев подошел к постели и потянулся через нее в окно.

— Туча заходит, — сказал он. — Настя, посмотри какая теплынь!

Настя поднялась и облокотилась на подоконник рядом с Симаревым. Он немного посторонился, чтобы она могла устроиться поудобнее. С минуту они молча смотрели в темноту бора, по верху которого струил глухой хвойный перезвон, похожий на какой-то тайный заговор. Где начиналась и где кончалась беспрерывно льющаяся песня хвои, определить было нельзя. Казалось, что и земля и темные недра бора вслушивались в эту песню так же, как и притихнувшие Настя с Симаревым.

За Окой загремел гром. Сперва глухой, далекий, потом удар становился отчетливей, раскатистей... И когда он докатился до дачи, то оконные стекла задрожали в тонком и зудном надрыве.

— А жутко, должно быть, сейчас в бору, — проговорила Настя, — особенно, если быть одной...

Эти слова поколебали Симарева. Он в первый раз сказал с оттенком грусти:

— Мне завтра придется испытать это одиночество Вечером ты будешь в Москве слушать трамвайные звонки и выкрики папиросников, а я один буду слушать неразгаданную песню бора...

— Москва-а-а! — протянула Настя. — Без привычки целую неделю шум будет стоять в голове. А потом привыкнешь. Закружишься в работе, как в колесе... Полеводство, животноводство, анализы разные: изучение растений, строения животных... Колбы, пробирки, бюретки, пипетки...

— Ну, наша писательская лаборатория не похожа на вашу институтскую, — улыбнулся Симарев. — Я, например, когда пишу, то ничего, кроме пера, чернил и бумаги, на столе не имею. Всякая лишняя вещь, даже книга, отвлекает меня от работы.

— Конечно, ты не из стеклянных приборов черпаешь материал — у тебя завод, деревня, люди...

— Ты права, Настя. Завод, деревня, люди и еще этот бор, окно, в которое мы смотрим... Я и ты...

— Что ты говоришь, Митя! Я!!? — она слегка закусила губу и испытующе посмотрела ему в глаза.

— Да, ты. Ты мне столько дала нового, сколько ни одна женщина не даст. Я не вытерплю, чтобы с тебя не списать чего-нибудь. Знаешь, чтобы познать более полно психологию женщины, недостаточно узнать только свою жену.

— Ты опять о психологии... Ну, хорошо! Только давай закурим.

Симарев быстро соскочил с окна, взял папиросы и снова устроился на подоконнике. Они закурили.

— Прежде всего имей в виду, — снова заговорила Настя, — что почти у всех женщин основное в психологии, это — стремление к материнству. И такое же большинство мужчин стремится получить от женщины физиологическое удовлетворение и улизнуть от нее, не считаясь ни с какими последствиями. Не поветрие ли это какое-нибудь, от которого молодое поколение развращается до последней степени?

— Бороться с этим надо. Показательными судами что ли... Нам, писателям, художественной литературой бить по этому месту.

— Литерату-у-урой, — насмешливо протянула Настя. — Много написано на этот счет литературы. Что ж: покупают эту литературу, захлебываются ею, как вином. Но результат какой? Только отравляют себя.

Симарев не глядел на нее, но чувствовал на себе ее взор, едкий, как медяную росу.

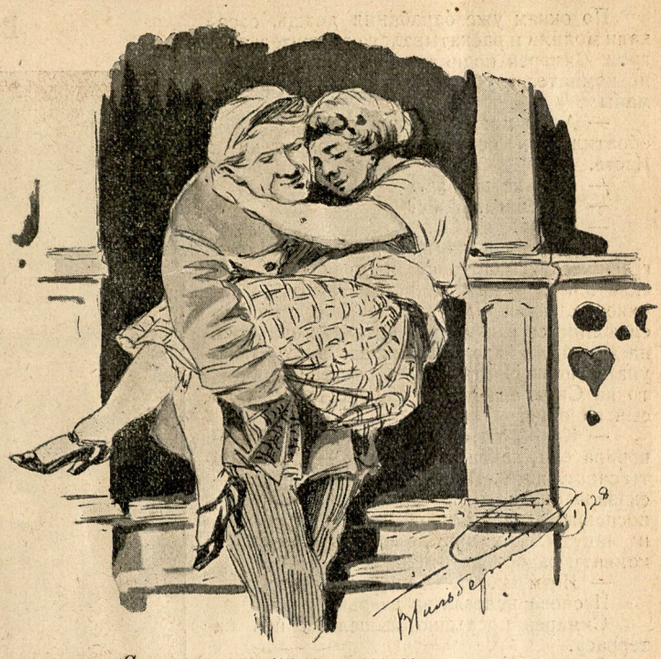
— Да, не легкий этот вопрос и сразу с ним не покончишь, — тихо проговорил он, рассматривая тень от ее головы на качающихся сучьях сосен.

— Загадка эта очень легко разгадывается. Я тебе про себя расскажу. Хочешь верь, хочешь нет. Ты видишь, что Мичурин не особенный красавец, а ведь я его не бросаю. А почему? Да потому, что у нас с ним была первая любовь. Ты знаешь, что женщина никогда не забывает своего первого. А мужчина, о! Да у него тысячи таких первых. И это обидно для женщины...

Сильный порыв ветра ворвался в окно. Смахнул со стола брошюры, газеты, опрокинул на пол коробку с зубным порошком и чуть не потушил лампу. Комната наполнилась шумом, порхающими бумагами и пылью от порошка. В комнате поднялась метель. Над бором ослепляюще сверкнула молния, и раскатистый гром расколол небо.



Мичурин сосредоточенно думал о чем-то, уставив взгляд в потолок.



Симарев поспешно понес ее с террасы.

— Закрой скорей окно, — соскочила Настя с кровати.

Симарев со звоном захлопнул окно, загремел шпингалетами.

— Наверно, ливень будет.

— Это ничего, а то жара и жара...

Настя, наклонившись, собирала с пола разбросанные ветром вещи.

Симарев вспомнил, как они ходили втроем на экскурсию в Колосовскую сельско-хозяйственную школу, осматривали там оранжереи, иоркширских свиней, коров-симменталок.. Вспомнил, как нетерпеливо гремели вилками и ножами в ожидании обеда и ужина в столовой; игры в баскет-бол, крокет... Вспомнил зеленую скамейку у живой еловой изгороди, где они фотографировались втроем: он, Настя и Мичурин.

Прерванный ветром разговор наладился не сразу. Настя как-то не договаривала слов, намекая лишь частично, но Симарев понимал все. У нее выходило так:

— У женщины является сильная, ничем невыразимая, привязанность к мужчине, особенно, когда с его стороны много ласк. Женщина тогда теряет силу воли, желание стать матерью подавляет все. И мужчина ей кажется жаждущим отцовства, как она материнства.

— Здесь со стороны женщины большая ошибка, — смелей пошла Настя, будто преодолев самое трудное. — Но избежать этой ошибки во-время нельзя. По-моему, мужчина должен иметь в виду все последствия брака, а не женщина. Ведь он, несомненно, знает, куда и к чему ведет женщину. Он должен предотвращать ошибки. Иначе, я бы сказала, он не может называться человеком в полном смысле этого слова. Согласен ты с этим?..

— Да, но к этому нужно кое-что прибавить.

— Давай.

— Женщина должна помнить, что она делает. Это — одно. Второе: у мужчины такое же сердце и такая же кровь. Мужчина столько же помнит о последствиях, сколько и женщина. И, вот, если ты знаешь вперед, что впадешь в ошибку, не доводи себя до нее.

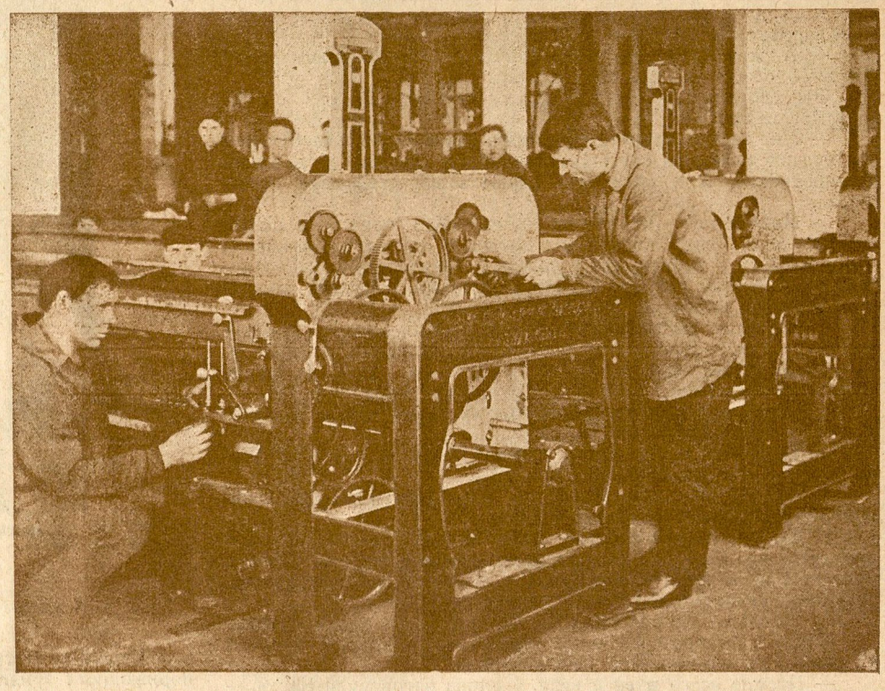
— Инстинкт материнства сильнее всего.

— Да, однако ты до сего времени не мать.

— Буду, — воскликнула Настя. Ее точно пружиной подбросило вверх. — Выучусь, поступлю животноводом и обязательно заведу малыша! Понимаешь, Митя, малыша буду иметь! Сейчас я... Ну, ты знаешь, тебе Мичурин, наверное, говорил... только не аборт.. Понимаешь меня... Я не могу свернуть с полдороги... А как только кончу институт и буду иметь работу — обзаведусь малышом. Ты воображаешь себе семейство? Малыша воображаешь?!.

Симарев смотрел на нее расширенными глазами. Она в это время была раскрасневшаяся, возбужденная, окрыленная мечтами о будущем.

Выпуск текстильных машин в Туле.



В 1926 году Тульский госзавод № 1 приступил к выпуску уточно-ватерных машин, которые ранее в СССР не выпускались, а привозились из Англии. В прошлом году было выпущено 30 машин, в нынешнем году будет выпущено 129 машин и деталей к машинам на три миллиона рублей. Выпущенные машины уже работают в советской текстильной промышленности и заслужили хорошие отзывы. Приспособление оборудования завода для выработки этих машин производилось под руководством инженера завода тов. Мельникова-Егорова. На снимке—сборка ватерной машины.

По окнам уже барабанил дождь, сверкали молнии и раскатывался оглушительный гром. Симарев поднялся со стула и заходил по комнате, глубоко засунув руки в карманы.

— А ты моего малыша не видела? — обратился он через несколько времени к Насте.

— Нет, не видела.

— Хочешь покажу?

— Ну-ка.

Он достал из записной книжки фотографическую карточку и подал ей. Она схватила ее и начала рассматривать. Личико мальчика было кругленькое, с наивно смеющимися глазками. Серенькая шапочка на нем была заломлена назад, а кисточка упала набок. Настя смотрела то на карточку, то на Симарева, точно сличая, походит ли сын на отца.

— Какой ты счастливый, Митя, проговорила она, наконец, шопотом.— Ах, какой ты счастливый... Пойду посмотрю погоду,— сказала она и, желая скрыть свое волнение, поспешно вышла за дверь. Но не прошло и минуты, как она ворвалась обратно комнату радостная и бурная.

— Идем скорей молнию смотреть!

И снова исчезла за дверью

Симарев поспешно вышел за ней на террасу.

Дождь к этому времени перешел в ожесточенный ливень. Нельзя было понять, отчего так сильно гудела крыша—от дождя, или от бури. Казалось, что ветром вот-вот сорвет с берега дачу и понесет под гору, разбрасывая бревна. Настя старалась перекричать бурю.

— Сюда, сюда, Митька! Смотри в темь, сейчас сверкнет!.. Чувствуешь, как сердце заходится? И невыразимо жутко, и невыразимо хорошо!

Точно накаленными до бела металлическими хлыстами рассекался молниями сгущенный мрак. Огненными зигзагами ослепляло глаза. И Симарева, и Настю как-то по-особенному захватывала эта разбушевавшаяся стихия. В нетерпении, с секунды на секунду, ждали они, когда тесный мрак распаяется вновь, когда бурно и радостно снова захлебнутся сердца. Землю точно кто громил с неба пушками. Вспышки молний озаряли все окружающее иссине-малиновым светом. В свете непрестанно всплывала несущаяся дождевая проседь, и неохватная опушка бора, зачесанная на восток ветром.

— Руку, руку дай сюда! — кричала Настя, хватая Симарева выше кисти руки. — Смотри, как льет с крыши!

— Да, льет, так льет! За барьер только не столкни меня. Видишь, там целая река

— А ты воды боишься?

— Если с тобой утонуть, то не страшно!

— Так ли? — сверкнула она во мраке глазами.

Он подался к ней, схватил ее и, подняв, прошептал:

— Жизнь, или смерть?

— После жизни и смерть не страшна.

Симарев почувствовал, как жар ее тела передается ему. Она цепко схватила его шею и, обжигая его дыханием, прошептала над ухом:

— Бросай!

Сразу ударивший ливень также сразу перестал лить, точно тучу обрезали ножем.

— Хочешь за Оку тебя унесу?—с дрожью в голосе выговорил Симарев.

Она волнующе засмеялась в ответ. Прильнула лицом к его лицу.

Симарев поспешно понес ее с террасы в бор.

Из-за туч вынырнул месяц, брызнул бледноватым бисером на мокрую траву, на сосны. От месяца меж сосен побежали голубые тропинки. На тропинки сосны роняли крупные капли. Симарев остановился на миг, точно соображая, как избежать сырости, что напитала бор. Настя молчала. Он слышал, как вблизи его сердца билось ее сердце. За Окой раздался какой-то звенящий, одинокий голос, так похожий на голос малыша Симарева. Самарев взглянул вверх. Большие небесные своды мерцали звездами, как электричеством, которое быстро включается и выключается. До этого Симареву Настя казалась легкой и воздушной. Но, когда он вспомнил сына, то ноша ему показалась тяжелой, как налитой свинцом мешок. Он снова оглянулся и увидел поваленную бурей сосну. Тяжелые, лапистые сучья сосны густо и грузно осели на землю. На хвое висели капли, как янтарные бусы.

В глаза Насти попала полоска лунного света. Симарев увидел, что глаза эти изменились цветом и горели ожиданием. Он же ощутил еще большую тяжесть в руках.

— А мне почудилось, что за Окой мой Валерик плачет,— процедил Симарев и опустил Настю на хвою сосны.

Она вздрогнула, удивленно сверкнув глазами.

— Я сейчас, — коротко сказал Симарев и пошел обратно на террасу.

Когда он вернулся к сосне, Насти не было. На землю глухо падали капли. Сильно струил бор смоляным запахом. Лунные тропинки стали длинней...

Симарев вышел на берег. Над Окой стоял лунный туман. Спала дача, тускло сверкая на луне желатинным светом окон. Из бора доносился неясный шум голосов. «Спектакль окончился» — подумал Симарев и вернулся в комнату. Там никого не было. Он убавил огонь и лег на кровать, завернувшись в простыню...

Когда он проснулся, в окно лился рассвет... Комната была пустая, на столе не было книг, которые любил читать Мичурин. Не было и вещей, что с вечера увязывали Мичурины.

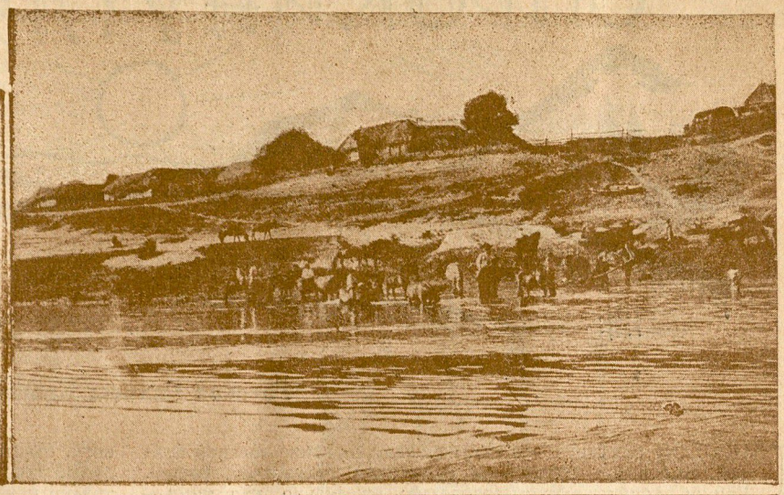
Сбросив простыню, Симарев встал и подошел к столу, открыл ящик и стал искать память о голубоглазой Насте.

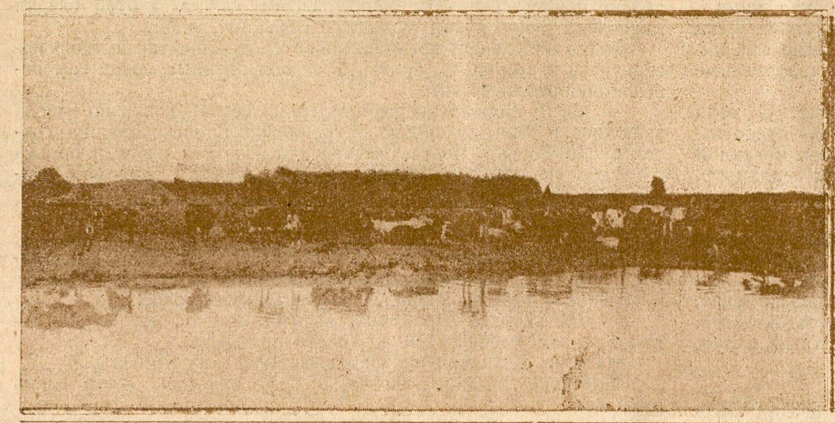
Карточка лежала сверху бумаг. Она была разрезана. Той половины, на которой были Мичурины, не было. С другой фотографической карточки улыбнулся его малыш. Его глазки были светлы, шапочка заломилась назад и кисточка упала набок.

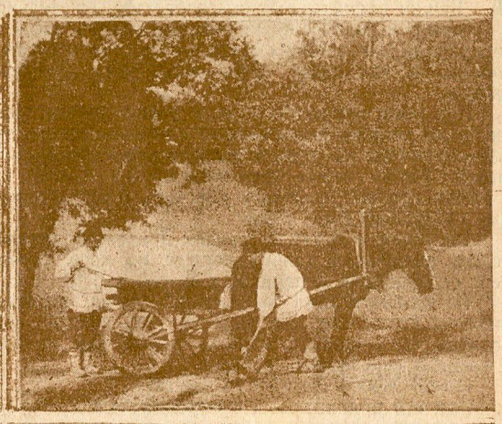
За окном, под горой дремала Ока, покрытая седым пологом тумана. На противоположном берегу, покрытом можжевельником, ходили лошади. У реки потухал костер. Около него спали крестьянские дети, сторожившие лошадей.

Деревня летом.

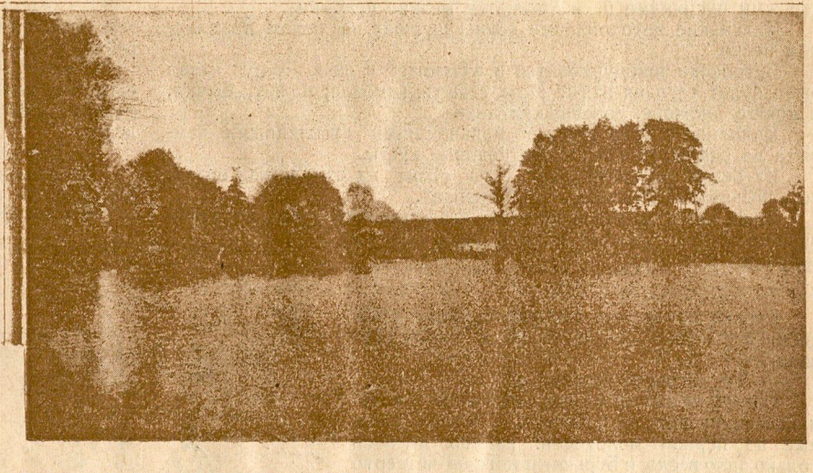












1. Стрижка овец (Ефремовский район). 2. Водопой на Красивой Мечи. 3. Стадо в полдень (Близ Скуратова). 4. Песок для стройки,— фотоэтюды Вирского. 5. Пахота,—фотоэтюд Розенберга. 6. Пруд при усадьбе Льва Толстого, —фотоэтюд Федорова.

Встреча.

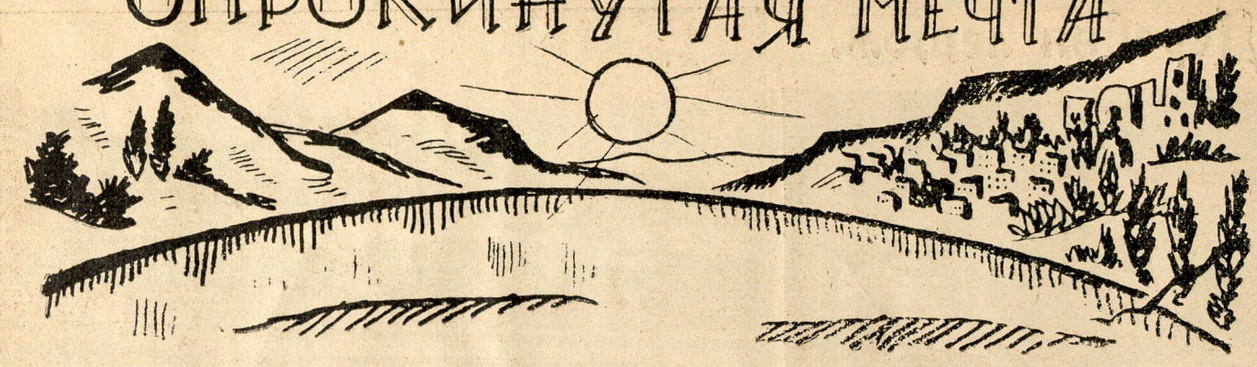
Из завода Дуня шла—
Шибко, шибко...
В голубых глазах цвела
Свет-улыбка.
По дороге у моста,
У большого,
Повстречала неспроста,
Знать, милого.
Руку жал. Смотрел в глаза
Милый Дуне.
Улыбнулся и сказал:
— С новолуньем.
Ой, как звезды хороши,
Ярки, ярки.
Что-то бархатом шуршит
В сердце прялки...

У березки в два конца
Свисли ветки.
До чего ж у кузнеца
Руки крепки.
Эта звездочка вот, ах-х!
Вниз слетела.
Ярким солнцем на губах
Загорелась.
Вечер птахой встрепенул
Без заботы.
Дуне завтра по утру
На работу.
Охмелела голова,—
Льнет на плечи:
Н-ну, довольно целовать.
Ой, ты... вечер!...

Ив. Галкин.

Рис. А. Ларчева.

ОПРОКИНУТАЯ МЕЧТА



Рассказ Галины Краевой.

ГОРОДОК приткнут кое-как на скале, над сине-зеленой бухтой. Еще выше—развалины невысоких генуэзских башен. Башни насчитывают тысячелетия; ежедневно над ними—ветер и солнце, но их желтый камень легок и упруг. Века не придали им величия,—кругом розово и густо разросся шиповник,—и так стоят они—похожие на хрупкие театральные макеты.

Под ними путаются по горе узкие, кривые улички. С моря их белые домики, вкрапленные в темную зелень туй,—красочны и романтичны; но вблизи от них несет запахом коз и тухлой рыбой. Рыбья чешуя переливается на солнце, как перламутр, а рыбьи головы раскиданы повсюду, и ими брезгуют даже худые гладкошерстные собаки.

По утрам и бухта и городок прикрыты огромным, молочно-белым облаком, и только кое-где из него торчат трагически черные верхушки кипарисов и мачты турецких фелюг.

Из крайнего дома на нижней улице, потягиваясь и зевая, выходит Петронаки. За спиной его—полвека и десяток детей, но зубы его молоды, а волосы черны, как прибрежный валун, и впереди еще верных полвека.

О-гей! Жизнь не плохая штука!

При его приближении с опрокинутых лодок во все стороны черными бусинками раскатываются мелкие крабики.

Маленькие неторопливые волны шуршат на белом прохладном песке.

Петронаки прищуривается и втягивает в себя воздух: какая рыба будет сегодня итти? Может быть, камбала; может, бычки, а может,—нежная, розовая султанка.

Молочное облако оседает мельчайшими стеклянными каплями на скалы, на крыши, на розовые кусты.

На белой высокой даче, что стоит на отлете над водой, ясно вычерчивается надпись „Флорида“.

Из-за самой дальней фелюги выкатывается утреннее начищенное солнце, — оказывается, небо совсем голубое.

Борька осторожно отворил калитку и покосился на окна—занавески были мирно опущены.

— То-то, черти бессонные!

Одним прыжком он скатился вниз к морю и поспешно отвязал „Мечту“. „Мечта“ была уже не первой молодости: налицо имелось только одно весло, и Борькины ноги на четверть прикрыла вода, но Борьке необходимо научиться грести. После окончания школы он поступит во флот. Хорошо бы попасть на миноноску! Взорвал бы он к чертям какой-нибудь английский крейсер,—кушайте на здоровье, мистер Чемберлен! Борька даже привскочил, и под его ногами мягко захлюпала вода.

А то хорошо бы еще пойти в кругосветное путешествие и привезти оттуда мартышку, такую, как в зоосаду они видели с отцом!...

При воспоминании об отце у Борьки сдвигаются узенькие белесые брови. Отцовское лицо почти не удержалось в его памяти, но зато крепко запомнились ярко-голубые глаза и рыжая мягкая бородка.

Вообще, сколько Борька помнил, жил он всегда с матерью, а отец появлялся внезапно на короткое время и снова исчезал. И мать плакала почему-то и при встречах и при проводах. Но однажды отец появился и уж больше не уезжал. По утрам у дома урчал серый автомобиль. В него, прихрамывая на одну ногу, садился отец, и из-за стекла весело поблескивали его голубые глаза. Как-то он взял с собой Борьку, мимо них стремительно понеслись прямые ленинградские улицы, а отец гладил маленькой сухой рукой пушистую Борькину голову.

Задул небольшой прохладный ветерок—„Мечта“ плавно повернулась к выходу из бухты. У ее облупленных боков еще веселее запрыгали волны.

— Чорт!—Борька энергично дернул весло. Тоненько запела уключина, и «Мечта» сильно накренилась. Волны оказались совсем около Борьки. Полосатые трусики взлетели вверх, и Борька с трудом ухватился за шершавый бок „Мечты“, спокойно плавающей кверху днищем.

На даче „Флорида“ подняли занавески, и к окну подкатилось кресло с худеньким черноглазым мальчиком. И сейчас же в утреннюю тишину ворвался пронзительный голос:

— Ой, Наталья Ивановна, вы там сидите, как курица на яйцах, а ваш ребенок сейчас совсем потопнет!...

Наталья Ивановна кубарем выкатилась из комнаты.

Маленькое, полное тело ее на бегу тряслось, щеки залил румянец.

— Дяденька Петро!—закричала она задыхаясь,—Христом-богом тебя прошу—тащи его паршивца скорей! Утонет малый, сейчас утонет!..

В руку Петронаки падает блестящий и круглый, как камбала, полтинник. „Рыба начинает итти“. Петронаки сбрасывает рубаху, драные синие штаны и аккуратно складывает их на лодке.

— Дяденька, да что-ж ты?! Утонет малый...

Петронаки хитро подмигивает одним глазом и обнаженный, как древний греческий бог, идет к морю.

В воде его темное сильное тело напоминает дельфина.



Петранаки обнаженный, как древний греческий бог, идет к морю.

Борьке помощь очень кстати: у него посинел нос и костенеют руки, ухватившиеся за корму.

Наталья Ивановна посмотрела на пенную струйку, бегущую от ног Петронаки. Слезы закапали на батистовую сиреневую блузку.

И вырастишь же такое детище! Каждый день тонет у матери перед глазами негодный мальчишка! Смотри мать и сходи с ума. Одних полтинников не наготовишься.

— Здравствуйте, Наталья Ивановна! О чем изволите так убиваться? Борюшка тренируется? Пора бы уж вам привыкнуть! Мальчик в таком возрасте, когда у него весь организм развивается—и мозг, и тело. Его, так сказать, энергия распирает!

Семен Иванович сделал широкий жест, желая показать, как Борьку распирает.

— Да, организм... вздохнула Наталья Ивановна.— Хорошо, у вас-то их не было!

— Совершенно верно! Всю жизнь прожил холостяком и детей не имел ни законных, ни алиментных,—горячо воскликнул Семен Иванович, поднимая кверху указательный палец.

Сегодня на нем ослепительно белый костюм и золотое пенсне особенно ярко блестит на носу кирпичного цвета. Но Наталье Ивановне не до всего этого блеска: к берегу подплывает Петронаки, крепко ухватив за шиворот Борьку.

— Пожалуйста, получай, товарищ мадам,— торжественно возглашает он: — совсем живой!

Мокрый, посрамленный Борька нехотя вылезает на берег.

Петронаки снова бросается в воду, теперь уже на помощь «Мечте», рыжая спина которой покачивается на маленьких голубых волнах.

— Долго ты, Борька, чертомолить будешь?—опасливо спрашивает Наталья Ивановна.—Совсем, видно, хочешь мать в гроб уложить?

Борьке противно и скучно. Опять опрокинулась «Мечта». Опять мать начинает пилить...

Он делает великолепный, физкультурный прыжок и несется вверх по узкому переулку. Наталья Ивановна долго смотрит ему вслед.

— Вот, Семен Иванович, покойный муж перед смертью говорил—сделай Борьку коммунистом, а как отдала его в комсомол—никакого сладу с мальчишкой не стало. С самой зимы все откладывала из пенсии, думала, повезу его к морю—поправится. А уж какое тут поправление? Сама вся измучилась...—Наталья Ивановна безнадежно махнула рукой.

— Нет, уж от комсомола добра ждать нечего,—зловеще сказал Семен Иванович:—конечно, сейчас ему только четырнадцать лет, а дайте подрастет и заведет финку, да пырнет когонибудь... Вот вам тогда и комсомол!

— Да, что вы, Семен Иванович, Боря мой не такой—бледнея, сказала Наталья Ивановна.

Семен Иванович смущенно снял пенснэ и поспешил переменить разговор.

— А знаете ли, препаршивый городишко—даже кооператива нет. Сегодня целое утро прохоцил по базару, думал, не найду ли породистого гнезда. Я, Наталья Ивановна, большой любитель породистых кур. У меня сейчас великолепные фавероли—так вот хотелось прикупить парочку для освежения породы.

— Куры—это хорошо,—мечтательно сказала Наталья Ивановна. А у нас, в Ленинграде, их негде держать—двор каменный и проходной.

Семен Иванович поглядел на ее белую, полную шею под тяжелым каштановым пучком и во рту у него пересохло.

Неожиданно для себя он сказал жарким шепотком:

— Я, Наталья Ивановна, не только одних кур любитель. Я семнадцать годов служу счетоводом, получаю шестьдесят два, но обещали набавить до семидесяти. А в Калуге, знаете ли, жизнь проще. Все-таки при своем домишке. В саду же я груши развел под названием «Бергамот», так, пожалуй, по вкусу не сравнятся с крымскими.

Наталья Ивановна покраснела до треугольника на блузке, открывающего розоватое тело. Вдруг откуда-то сверху раздался пронзительный, звонкий Борькин голос:

— Крыса чернильная! Ф-ю-ю.

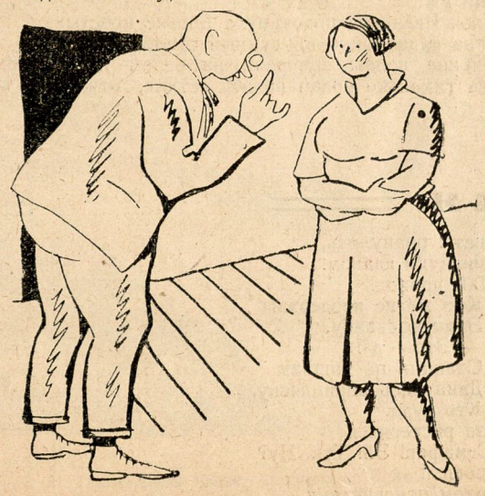
Вечером на террассе варили кизил. Худенький черноглазый Яничка спокойно посматривал из своего кресла, как вскипала кроваво-красная пена.

В углу рабочий завкомовец Левашов и седобородый Бесик сосредоточенно сидели над шахматной доской.

Оттуда слышалось: Вы извините, но—шах вашему королю.

— Валяйте...

— Что-то в ушах сера свербит—наверно, к дождю!—Семен Иванович сладко потянулся и зевнул. Пойти на покой, а завтра пораньше на базар встать. Вам, Наталья Ивановна, ничего на базаре не надо? Нет? Ну, покойной ночи!



...сказал Семен Иванович, поднимая кверху указательный палец.



Бусы стремительно покатились вниз по ступенькам...

Когда его шаги затихли, Левашов отодвинул шахматы.

— Нет, Арон Петрович, видно, вас не обыграешь! Наталья Ивановна, пойдемте подышать воздухом.

— Ну что-ж! Наталья Ивановна встала, обрадовавшись уйти от грозного соседства мадам Бесик.— Кстати, и Борьку поищем. С утра пропал малый.

За террассой была черная, безлунная ночь. На густой басовой ноте гудел где-то в кустах большой жук. Легкий ветерок принес сладкий запах магнолии и теньканье мандолины. И далеко внизу разбивались волны о груду камней.

По лестнице Наталья Ивановна старалась подниматься как можно тише. В волосах ее была темно-алая роза. Борька уже спал, вытянув длинные, нескладные ноги. Наталья Ивановна вынула из волос розу, еще влажную от росы, хотела было поставить ее в стакан, но, взглянув на Борьку, остановилась... В открытое окно со стороны городка доносился смех и гортанный говор греческих девушек, идущих к развалинам со своими возлюбленными. Она прижала розу к щеке, и ей ясно представилась широкая, сильная фигура Левашова. «В нашем ФЗУ из Борьки человека сделают»—зазвучала в ее ушах его фраза. Стосковался я, Наташа, без любви.

Наталья Ивановна тихонько усмехнулась и вынула шпильки,—в слабом полусвете зеркало отражало блестящие глаза. Сорок скоро прошептала она,—да, а еще Семен Иванович-то...

С моря потянуло холодом. Наталья Ивановна подошла к окну, плечи ее обдало струей сырого воздуха.

— А Митя, Митя-то покойный, если б видел!—пронеслось у нее в мозгу. Около часа она стояла, вглядываясь в густую оконную темноту.

— Ведь не для себя счастье,—вдруг громко, с отчаянием выговорила она:

— Для Борьки отца хочу...

Она поспешно захлопнула окно и подошла поправить кровать. Борька лежал на спине, глядя на нее в упор.

С утра пошел мелкий, холодный дождь. Бухта зловеще потемнела, пронзительно и жалобно кричали чайки, и Петронаки осмотрел цепи всех лодок. Яничка долго и мучительно закашливался, и седобородый Бесик, прямой, как библейский соляной столб, читал ему о детях капитана Гранта. Яничка лежал, закрыв глаза, слегка шевеля исхудалыми восковыми пальцами, и думал: может ли Ленин, делающий хорошую жизнь, сделать, чтоб у него не болела спина?

Семен Иванович с базара вернулся веселый—с парой фаверолей в плетеной корзинке, и сразу дача наполнилась квохтаньем.

Борька сидел на конце мола и плевал в медуз, покачивающихся в воде и переливающихся всеми цветами радуги.

— Если вытащить—обожжет, думал Борька.—У, слякоть противная!

Под конец медузы ушли на дно. Борьке стало совсем скучно. Он отправился бродить по улицам, отшвыривая ногой рыбные головы.

— Умер отец,—значит, крышка?—Борька злобно посмотрел в сторону «Флориды». Горькая обида за отца и себя закипела

в его сердце.—Пожалуй, еще драть будут, вот как Петьку вотчим дерет. Ну, погодите, голубчики, я вам удружу,—раздельно произнес Борька и погрозил кулаком «Флориде».

Наталья Ивановна целый день не показывалась. Левашов все утро проходил под окнами, пока на него не наткнулся Семен Иванович.

— Чорт знает,—какой холодище,—сказал Левашов.—А еще Крым.

— Да, холодненько.

Семен Иванович поежился в своем белом костюме.

Они взглянули друг на друга и рассмеялись.

— Пойдемте-ка, Семен Иванович, погреемся,— решительно сказал Левашов, и они согласно зашагали к городу.

От терпкого молодого вина Семен Иванович совсем раскис. На «Флориду» он вернулся веселыми ногами и уселся на корточки перед клеткой с курами:

— Курочки вы мои дорогие! Каких же я от вас хорошеньких цыплят разведу.

Семен Иванович покачнулся, обнял клетку и сладко захрапел.

Левашов долго еще бродил по извилистым улицам.

Низенький, пыхтящий, как монгол, армянин продавал длиннейшие красные бусы. «Вот бы Наталье Ивановне»—мелкнуло в голове у Левашова, и он, не торгуясь, купил самую длинную нитку.

Но тут же он сообразил, что неловко нести бусы на дачу среди белого дня. Он запихнул их в карман, но все-таки их конец высовывался наружу. Тогда он поднялся повыше, к развалинам башен, и на него весело и любопытно глазели смуглые, точно сделанные из терракоты, ребятишки. Под ногами его прошуршала ярко-зеленая ящерица.

— А здорово раньше строили!—подумал Левашов, глядя на развалины.

— Сколько лет простояли—и целешеньки. Вот бы нам так научиться!

Он вспомнил, что без него должно состояться открытие нового корпуса, и сразу потянуло на завод.—Эх, и какого-ж чорта я здесь прохлаждаюсь! Подумаешь, здоровье приехал поправлять!..

С моря надвигался туман, и в нем как-то сразу растаяли очертания башен. Левашов стал медленно спускаться с горы.

Издали он увидел в окне Натальи Ивановны свет, и сердце его забилось. Увезти бы ее с собой на завод! Уж очень душевная баба...

Он представил себе, как неуютно и тоскливо бывало по вечерам в его маленькой холостяцкой квартирке, и почувствовал, что ему необходимо сейчас же увидать ее.

Он нагнулся, поднял камешек и бросил его в окно. Стекло слабо звякнуло, и опять стало тихо.

А что, если постучаться?—подумал Левашов. Ему стало смешно за свою робость, и он решительно взялся за дверную ручку.

Он ощупью стал подниматься по темной лестнице и вдруг вспомнил, что купил бусы. Он вытащил их из кармана, но между ними запуталась его старая любимая зажигалка. Их холодные твердые зерна скользили в его пальцах и запутывались еще больше.

— Ну, не дарить же вместе с зажигалкой—досадливо подумал и сильнее дернул нитку. Тра-та-та-та!—точно застучал дождь по крыше. Бусы стремительно покатились вниз по ступенькам. Левашов отскочил к своей комнате и захлопнул за собой дверь.

— Хорошого-ж ты дурака свалял,—укоризненно сказал он себе. Нет, видно, надо спать ложиться!

Он быстро разделся, протянул руку, чтоб поправить подушку. И вдруг рука его погрузилась во что-то отвратительно липкое и холодное. С трудом он разыскал в темноте зажигалку и при ее желтом огоньке увидел на подушке студенистую бесформенную медузу.

Солнце ярко сияло над бухтой. Турецкие фелюги казались неподвижными на ее нежно-голубой поверхности.

Петронаки вышел из своего дома и прищурился:—какая рыба будет сегодня итти? Может быть—камбала, может—бычки, а может—серебристая макрель.

На «Флориде» широко открыли все окна, мадам Бесик подкатила к окну Яничку, и его худые щечки порозовели на свежем, солоноватом ветру.

Яничка перелистал сто раз читанных «Детей капитана Гранта» и вздохнул.

И вдруг в утреннюю тишину ворвался пронзительный голос мадам Бесик.

— Яничка, неужели ты ничего не видишь? Семен Иванович, это же ваши куры плывут.

Семен Иванович сидел в своей комнате злой и невыспавшийся после вчерашнего похмелья.

— Мои куры?—закричал он на всю дачу.—Да ведь я же их на террассе оставил.

Но факт был бесспорен. Великолепные фавероли, беспомощно трепыхая крыльями и кудахтая, плыли на «Мечте» уже в нескольких саженях от берега.

Семен Иванович на минуту остолбенел и затем завопил изо всей мочи:

— Ей ты, греческая образина! Плыви скорей. Утонут куры.

Петронаки широкими взмахами подвигался к «Мечте». Лицо его светилось широчайшей улыбкой:—рыба начинает итти.

Борькина постель была пуста. Наталья Ивановна стояла, не смея поднять занавеску, и прислушивалась, как внизу бушевал Семен Иванович.

— Я этому мальчишке все уши оборву. Я пойду в комсомольскую ячейку жаловаться—пускай его там, стервеца, как следует проучат.

Семен Иванович величественно потрясал пальцем.

Левашов вышел из своей комнаты, осунувшийся и угрюмый.

— Бросьте вы тут бузу затирать, кинул он на ходу Семену Ивановичу.—Куры ваши живы и невредимы, а полтинник вам Наталья Ивановна отдаст. Мать, ведь, малец отстаивал.

Мадам Бесик торжествующе поглядела на мужа:

— И что ты, Арон, скажешь теперь?!

Наталья Ивановна просидела у окна до самого вечера.

Было уже совсем темно, когда заскрипела дверь, и в щелку просунулся Борькин нос.

— Борька, да что-ж ты делаешь, чертенок?— подскочила Наталья Ивановна.—Семен Иванович пошел на тебя жаловаться в ячейку. Вышибут тебя теперь из комсомола. Сам осрамился и отца осрамил.

Наталья Ивановна тихо и жалобно заплакала.

— В ячейку?..

По Борькиной спине побежали мурашки.

Его четырнадцатилетнее сердце мучительно сжалось, и он сразмаху уткнулся головой в материнские колени.

— А ты зачем замуж вы-хо-ди-и-ла?

Позднее, когда они оба, примиренные, лежали в своих постелях, Борька сонным голосом спросил:

— Мать, а ты завтра в ячейку пойдешь?

— Спи уж.

Наталья Ивановна подоткнула Борьке простыню.

Из окна падал широкий лунный столб.

Маленькие волны шуршали на белом прохладном песке. и у берега тихонько покачивалась ветхая, отжившая свой век «Мечта».

Плясовая.

Подбородок грузный,
Холеный и бритый.
Джентльмен!
Старый, береженый,
Песнями овитый
Инструмент.
Поднял руку; стихло.
Маленький и тонкий
Взял смычок.
Зашумели травы.
На поляне — звонкий
Соловьиный чок.
Поднялись березы
И поплыли сразу
В хоровод,
И цветы рванулись,
Подмигнули глазом:
— Дай проход!
Кто же не поддержит
Этакую сказку?
— Это — да!
Станции по шпалам
Двинулись вприпляску,
Кто куда.
Поезд растерялся
— Семафор! Эй! Тук. Ну?
Я прошел!
А потом присвистнул,
Колесом пристукнул:
— Хорошо!

Иван Костин.

НАША ЗДРАВНИЦА.

На отдыхе.

4000.

Дома отдыха в Алексине заняли 30 лучших дач в бору. Все дачи подремонтированы, оклеены обоями, освещены электричеством. Первая партия отдыхающих состоит из 420 человек. Всего за лето через Алексин-Бор будет пропущено 4000 отдыхающих, 80 с лишним процентов которых—рабочие.

Семьи рабочих.

В каждую группу включается 15 человек женщин с детьми, для которых выделена специальная дача и выдается паек на детей.

Ясли.

С первого июня будут открыты ясли, на которые Страхкасса ассигновала 3000 р.

На снимках:

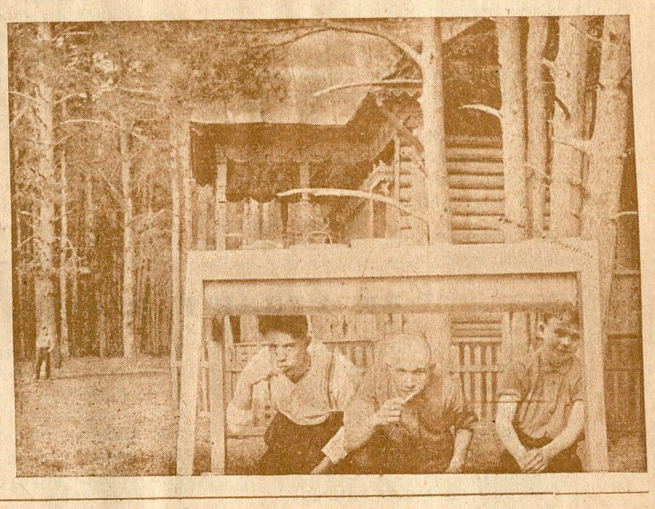
1) *Приехали*
2) *В лесу на отдыхе.*
3) *„Алексинский Крым"—скала на берегу Оки.*
4) *Утром; умываются.*



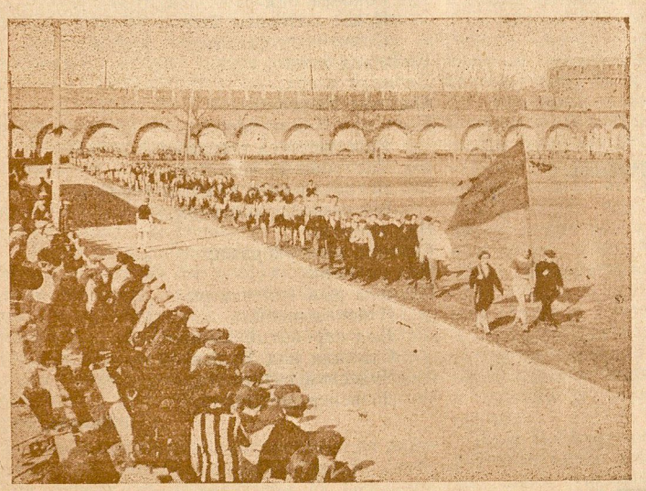


Алексин-бор.



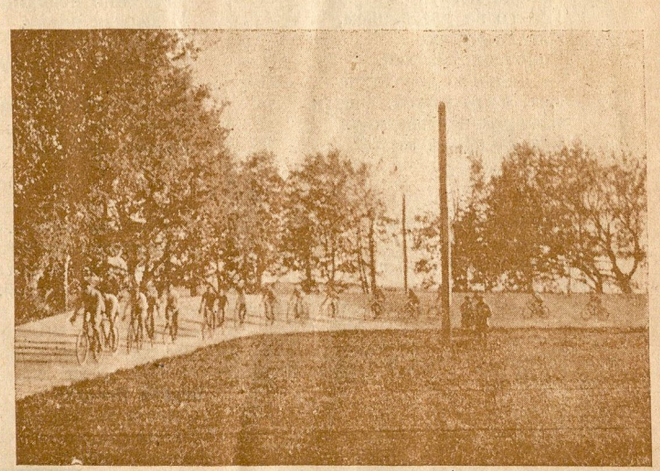


В здоровом теле—здоровый дух.



Праздник физкультуры в Туле.

Физкультурники проходят через Кремль.



Международные велосостязания в Туле.

Состязания окончились победой латвийских велосипедистов над туляками.

Стихи

Письмо.

С вами мы вдруг встретились в вагоне.
Мало мы знакомы. Ну и что ж?
Помню я: от дикого разгона
Пробегала по вагону дрожь.
Бились версты весело, отчаянно,
Путь дымился, словно серый трут...
Мне казалось: плыли не случайно
Ваши волосы на золотом ветру.
Трепетали в серой раме пряди —
Точно больше ничего и нет.
Мне казалось: в вашем синем взгляде
Я увидел брызжущий ответ!
Ветер милый,
Приударь сильнее!
Версты, версты,
Мчитесь под вагон!
Зашатался,
В радости немея,
Под колесами звенящий, дикий стон.
А потом
На тихом полустанке
Мы сошли,
И ночь — как сотня лет.
Под луною перстеньки — полянки,
Соловьиный над полянкой бред.
А теперь —
Скажите, что осталось?
Не пойму, родная, не пойму...
Тихо-тихо вздрагивают шпалы,
Голова в смятеньи и дыму...

Иван Костин.

Мещанке.

Нет — не рокоты рояля
Под весенний шум;
Мне глаза твои сказали
Тайну дальних дум.
Мне глаза твои сказали,
Что в какой-то срок
Кони молодости стали,
Глядя на восток.
И теперь в угоду «богу»,
«Богу» и «судьбе»,
Кто-то торную дорогу
Выберет тебе.
Кто-то скажет:
— «Это проще!..»
И кому-то вдруг
Отведет жилую площадь
Пожилой супруг.
Весь в чаду чиновной чести,
Важен, толст и бел,
Будет он кассиром в тресте
И в самом себе.
И с тобою неразлучен
(Люб или не люб),
В меру сдержан, в меру скучен
И не в меру — глуп.
И лишь ночью, негой болен,
В сладостном огне,
Будет он тобой доволен
И собой — вдвойне.
А на утро—перегаром —
Серенький уют...
За бельем и самоваром
Годы пробегут.
И зачем, зачем когда-то
Мнилось в полусне,
Что примчит он на крылатом
Вороном коне...
Гулкой болью надрываясь,
Прохрипит рояль:
«Где ж ты, пенистая радость,
Молодость моя!»
Злой укор — откинув штору,
Бросишь ты судьбе...
Может быть
В такую пору
Я приду к тебе.
Будет вздрагивать за нами
Розовый рассвет.
Я спрошу тебя глазами,
Ты ответишь:—«Нет!»
И взметнет навстречу взору
Горечи волна,
Ты вздохнешь, завесив штору
Своего окна.

Ах, не рокоты рояля,
Тайну этих дум
Мне глаза твои сказали
Под весенний шум.

В. Сухотин.

Как играют ключи.

В небольшом колодце
Медленный источник
Еле слышно бьется
И булыжник точит.
В боевом и сером
Капли-партизаны
Падают.
Резервы набегают заново.
То берут галопом,
То на повороте
Затихает топот,
И не слышно роты.
Далеко и глухо,
Где-то за плесканьем,
Еле ловит ухо
Ропот партизаний.
— Дальнею дорожкой
Лет, быть может, двести
Шли мы понемножку.
Все на одном месте.
Мы размыли горы,
Просквозили камень
И за разговором
Стали стариками.
Мы пропели радость.
Без конца и дела
Мы устали падать...
И орава села.
Мерное плесканье.
Цепененье. Глухо.
Но вода стеклянит.
Что-то ловит ухо.
Медленно подкапывая
И дырявя почву,
Молодою каплей
Засверкал источник.
Новые и заново
По иструбной шпале
Капли-партизаны
Замаршировали.

И. Стрелков.

* * *

Степовая тишина,
Степовой покой.
Шорох тихий камыша
Над родной рекой.
Золотистая листва,
Гомон золотой.
Голубая сторона —
Край родимый мой.
Голубые небеса,
Сумрак голубой.
Серебристая роса
На траве густой.

Сергей Володин.

Гитара.

„Любимая, прошу я
Гитару подари"...

Уткин.

В синеве
Аэроплан гитарою
На басовой струне
Играет песню бравую
О вышине.
О солнце и железе
Рокочет она.
И все хотелось лесу
Солнечных сонат.
Пролетая низко,
Забирая вверх, —
Она над Минском
Поет про Кенигсберг.
Расставалась с селами
Частушками веселыми.
Встречалась с каждым городом
Взывающим аккордом.
Над озерами
Стелила дым узорами;
Над речками
Пускала дым колечками.
И невидимкой,
Под сероватой дымкой,
Стихала над Ходынкой —
Чудесная гитара та,
Дозвенев до старта.

Есипов.

Максим Горький в СССР.

В конце мая М. Горький приехал в СССР. На границе и по всему пути до Москвы,— везде трудящиеся СССР приветствовали своего любимого писателя. Рабочая Москва встретила Горького массовой приветственной демонстрацией.

Московский совет, 2500 рабочих делегатов, приветствовали Горького в Большом театре. Это было большое собеседование рабочих читателей с своим писателем. Доклад Луначарского был лишь прологом к этому знаменательному собеседованию. Докладчик с обычным для него искусством набросал — как он сам выразился — социально-психологический этюд с крупнейшей фигуры отца пролетарской литературы, еще не получившего своего портретиста.

— Самое характерное в фигуре Алексея Максимовича,— говорит т. Луначарский,— заключается в той стремительной линии, которую он прошел в своей жизни. Горький знал в своей жизни самые трудные моменты. Он испытал голод, холод, побои, безработицу, а потом, как на крыльях, взлетел вверх и соколом поднялся до мировой славы.

Сейчас он вступает на самую высокую ступень своей жизни и творчества, ибо пролетариат Советского Союза провозгласил его своим великим писателем.

Горький беспощадно обличал в своих произведениях все мрачные стороны дореволюционной действительности. Но в то же время он был проникнут бодростью и на ряду с теневым показывал и светлое. Горький, с одной стороны, говорил тогда в своих произведениях: „Вот, что вы сделали с жизнью, подлецы!“ А за этим скрывался яркий фон, показывающий возможность лучшей жизни.

Большая заслуга Горького состоит в том, что он сумел с необыкновенной, почти графической четкостью изобразить мещанский мир. Он ненавидел смрадное мещанское благополучие, построенное на человеческих костях. Зато Горький умел и любить. Эта любовь его к трудящимся, к рабочему классу выразилась в итоге в том, что он вступил в партию. И если в Октябре у Горького немножко закружилась голова и он растерялся, то ведь мало таких, кто не согрешил в Октябре. А ведь он—художник, и на него все трудности переходного времени произвели особенно сильное впечатление. Несмотря, однако, на отдельные ошибки, В. И. Ленин никогда не отходил от Горького и сильно его любил. И не кто иной, как Владимир Ильич, признал его подлинным пролетарским писателем.

— Сейчас,— заканчивает тов. Луначарский,— Максим Горький должен запустить в свое горячее сердце руку писателя и выбросить целую горсть новых художественных ценностей.

— Да здравствует великий рабочий класс и его великий писатель!

Последние слова тов. Луначарского покрываются горячими аплодисментами. По залу прокатывается мощное „ура“. Все присутствующие встают и долго приветствуют Максима Горького.

Рабочие и работницы, пионеры и пионерки выходили на трибуну с речами, делали нехитрые свои подношения, обнимались и целовались с любимым писателем, подолгу трясли ему руки, любовно заглядывали в глаза и, как только могли, выражали свою радость непосредственного общения с писателем-другом, с писателем-революционером.

Переполненный зал сотрясается от аплодисментов, когда предоставляется слово для ответа на приветствия М. Горькому, которого слушают с напряженным вниманием.

— Дорогие товарищи, я начну с возражения Анаталию Васильевичу. Дело, видите ли, в том, что случай с Горьким нельзя рассматривать как исключительный случай. Тот факт, что некто Алексей Пешков, преодолев свою малограмотность и кой-какие внешние препятствия, стал литератором сравнительно таким же, как литераторы, проходившие гимназию и университеты, то это в сущности нельзя считать исключительным, нельзя. Если до Горького, скажем, этого не было, то теперь, сейчас, в этот день, здесь, где сидят 2.500 строителей новой жизни, новой культуры, здесь таких людей, вероятно, найдется не одна сотня. И вообще сейчас в России таких биографий, вероятно, тысячи.



Я немного знаком с людьми, живущими в огромном Советском Союзе. Я получил бесчисленное количество биографий, более ужасных по своей жизни, чем то, что когда-то было пережито мною. Об этом не стоит больше говорить. Дело не в том, каков человек был в прошлом, а в том, что такое он сейчас, в этот день, и вообще, видите ли, суть не в дедушках и бабушках, а во внуках, да, да. Когда я вижу вот этаких внуков в бывш. императорском Большом театре, как у себя дома, то это— вещь, это — хорошо. (Аплодисменты).

Это дорого стоит, но зато дорого и заплачено. Но все-таки это стоит дороже, чем за это заплачено. Этот товарищ, с которым я сейчас публично целовался, это, знаете ли, вещь. Это есть то, за что можно было заплатить и можно было заплатить даже больше. За это заплатил класс, но это оправдано. Товарищи, ваши страдания, страдания отцов ваших—оправданы.

Мне к этому вечеру дали краткий очерк той работы, которая сделана здесь вами, строителями Москвы, хозяевами, за эти 6—7 лет. Когда я посмотрел на этот краткий очерк, то там оказалось 20 страниц и бесчисленное количество ссылок. Я знаю эту работу, я чувствую ее, и за этими ссылками, за этими 20 страницами для меня лежит другое.

Милые товарищи, я сегодня был в гостях у Владимира Ильича. Этого человека я любил, как никого. И пользовался тоже его вниманием и любовью. (Волнение не дает Горькому говорить).

Ну, конечно, ладно...

Ведь я уехал, когда он был еще здоров...

Ну, да ладно. Что об этом говорить...

Каждый из вас прекрасно знает, что значит потерять этого прекрасного великого человека.

Само собой разумеется, что сегодняшний визит мой потряс меня сильно, очень сильно. И вот это сейчас отразилось, я не могу говорить спокойно.

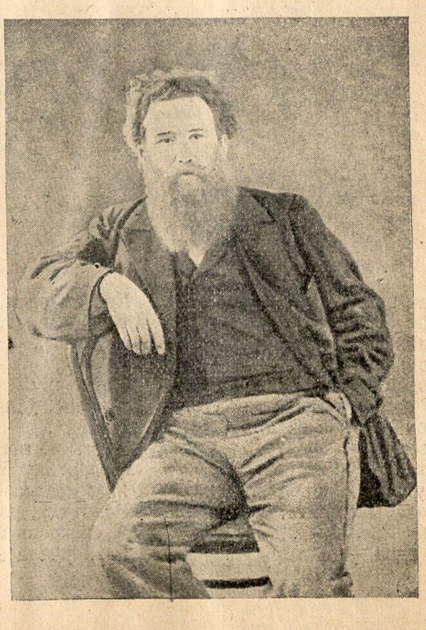
Но представьте, товарищи, после этого я поехал в Институт Маркса и Энгельса, и когда я там поглядел на гигантскую работу Рязанова и его товарищей, его помощников, я вдруг вспомнил со стыдом, что то глубокое потрясение (а я умею чувствовать), которое я пережил несколько минут назад, я утратил его, я потерял его. Почему? В чем дело? Товарищи, в этом виноваты вы, потому что вами создалась такая атмосфера, атмосфера напряженного драматизма.

Но, товарищи, эта атмосфера изумительной энергии, которая насыщает человека. Мне 60 лет, я кое-что видел. Я больной, но я приехал сюда гораздо более больной, чем я есть сейчас, потому что

---

75 лет со дня рождения В. Г. Короленко.

Владимир Галактионович Короленко родился 15 (27) июня 1853 года в Житомире в семье чиновника. В 1872 году поступил в Петровско-Разумовскую С.-Х. Академию (теперь Тимирязевская) в Москве. С этого времени начинается его революционная деятельность, за которую его исключили из Академии, а через некоторое время и сослали. В 1881 году незадолго до окончания срока ссылки, за отказ подписать присягу на верность Александру III, его вновь выслали на 3 года в Якутскую губ. Там началась его литературная деятельность. Короленко написал прекрасные произведения: «Сон Макара», «Лес шумит», «Дети подземелья», «Слепой музыкант», «Без языка» и друг. Он редактировал журнал «Русское Богатство».



Огромное впечатление произвело в свое время выступление Короленко в суде в защиту вотяков, ложно обвиненных полицией и попами в человеческих жертвоприношениях.

Дело Бейлиса (обвинение евреев в употреблении крови христиан для пасхи), смертная казнь революционеров вызывают громкий протест Короленко в годы, когда все остальное общество боялось и молчало. Поэтому его прозвали «совестью России».

Умер в Полтаве 25 декабря 1921 года.

во-первых, я не узнаю города. Я знаю все его дома, но я вижу других людей. Это молодые, сытые люди. Это проклятое противоречие между той бессмысленной и отвратительной роскошью, которую я вижу на Западе, и теми лохмотьями, которые находятся там рядом,— этого здесь нет. Но не в этом дело.

Все, что сделано за это время, это — удивительно, товарищи. Ведь денег нет, подчас нет понимания того, что делать нужно. А вместе с тем сделано колоссально много. Вы знаете лучше чем я о тех достижениях, которые имеются. Это какое-то чудо. Я вижу, что вы необычайно развились, что вы изобретаете, что вы идете по пути строительства. Вы, может быть, этого не видите, потому что вы вращаетесь в своей среде ежедневно. А у человека, который немножко смотрит со стороны, точка зрения несколько шире и впечатлений больше.

Почему же, товарищи, вы в газетах и в отношении друг с другом слишком резки, слишком беспощадно царапаете друг друга? Товарищи, не надо этого делать. Надо быть как-то дружелюбнее, надо быть как-то мягче. Каждый из вас достойный человек, каждый из вас хороший работник, и надо как-то лучше относиться друг к другу. Ведь вы находите возможным относиться ко мне хорошо.. (Аплодисменты). Это, товарищи, естественный вопрос. Что из того, что я написал что-то. Писательский труд— ведь это небольшой труд, а ваш труд колоссальный, и нужно относиться друг к другу как-то иначе.

Вам нужно завести перед собой какое-то зеркало, в котором вы должны видеть не только в одной плоскости, но вам нужно давать себе ясный отчет во всех областях. Вам нужно знать ясно и отчетливо, что делается всюду, всюду.

Несомненно, что произошло какое-то удивительное совпадение. Несомненно, что одна из великих истин, великих идей — коммунизм — попала на какую-то чрезвычайно плодотворную почву. Может быть, это потому, что здесь имеются исключительно благоприятные условия и имеются такие люди, как вы.

Я жил там отшельником, читал газеты, писал письма и имел смутное представление о том, что делается на улицах Москвы. Теперь это представление ясное и рельефное. Я уже со многими говорил, многих видел, я должен сказать, что это—другой народ, это не тот народ. Это не тот народ, который я знал, не тот, о котором я писал. Этот народ должен и может создать своих писателей и создает их. Он должен и может сделать все, что он хочет, и сделает.

Дорогие товарищи, на Красной площади лежит Владимир Ильич Ленин, здесь сидит коллективный Ленин, этот Ленин должен как-то углубиться, возвыситься, он должен создать много Лениных, таких огромных, таких великих, таких настоящих, мировых, гениальных Лениных.

Вот что я вам скажу, дорогие товарищи. Это все вы должны создать и можете создать. И вы должны относиться друг к другу лучше, чем вы относитесь. Цените выше друг друга. Вы достойны великой оценки. Вам это говорит не художник, не литератор, вам говорит простой рабочий, русский человек. (Громкие аплодисменты, переходящие в овацию, оркестр играет «Интернационал»).

Долго после речи Горького в зале не смолкал восторженный гул.

Под этот гул, аплодисменты, крики «ура» принимается резолюция, приветствующая М. Горького.

Десятилетие Свердловского комуниверситета.



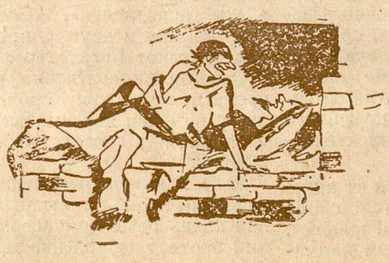
В конце мая текущего года исполнилось 10 лет Коммунистическому Университету имени Я. М. Свердлова. Свердловский ВУЗ дает высшее образование в области общественных наук. Особенности его это—полное изучение теории марксизма—ленинизма.

На снимке—свердловцы на занятиях в химической лаборатории.



Лен заклеклый,
Вот беда —
Как у свекра
Борода.
Вздену на гребень намыку
И начну намыку мыкать.
Донце утлое скрипит,
Свекор,
Старый чорт, не спит,
Муж на дальней стороне,—
Позабыл, знать,
Обо мне.
Я одна,—
Кругом одна,—
В ночь постеля
Холодна ...
Сяду я,
Повытяну
Тоньше, длиньше
Нитину,
Пусть по всей округе знают
Молодайку Митину.
Моя прялка — рокотуха,
Рокотуха, рокочи,
А свекровь моя, сокруха,
Разворчалась на печи.
Не ворчи, старушина
Наша жисть нарушена,
Я жена Митюшина,
А любовь Ванюшина.
Ваня из сарайчика
Мне грозился пальчиком;
Кабы мне теперь не пряжа,
Погуляла-б с мальчиком!
Нитка, нитка, ниточка,
То толста, то тоненька
Чу! кажись, калиточка
Скрипнула тихонечко.
Прялка ходит — рык да рык,
Нитка вьется, сучится.





На печи храпит старик,
Молодайка мучится.
Бредит старая свекровь,
Все бранится спросони,
У молодки бьется кровь,
Рвется из-под поскони.—

А. Медведев.

ЮМОР

Рис. В. Сэппа.

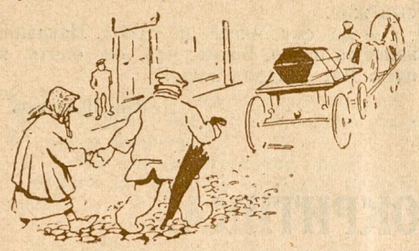
НЕОЖИДАННОЕ ПРЕПЯТСТВИЕ.

В семье Лазаревых большое горе: из больницы сообщили, что их сын Николай (несколько дней тому назад отлучившийся из дому) умер.

Лазаревы отправились в больницу и там узнали, что Николая подобрала на улице карета скорой помощи. Не приходя в сознание, он умер. По свидетельству врачей, смерть последовала от чрезмерного опьянения.

Лазаревых провели в мертвецкую, где их глазам представилась ужасная картина: разложившийся до неузнаваемости труп.

— Забирайте! — предложила администрация.



Шли далеко за гробом.

— Да он ли это?

— У нас без ошибки, не беспокойтесь. Да и по документам видно, что это ваш.

Лазаревы повертели в руках документы,— действительно, это были документы Николая.

— А вот его одежда,— указал служащий на какие-то отрепья.

— Он никогда не носил такого платья.

— Да, вероятно, он пропил свое или поменялся спьяну с каким-нибудь босяком.

***

Погребальная процессия растянулась очень далеко в оба конца от гроба, и даже привычный к плохим запахам кучер погребального бюро вел лошадей скорым шагом. Могильщики быстро закопали гроб, выровняли холмик и к обусловленной плате грубо потребовали прибавки:

— Дух больно тяжелый был. Нельзя давать одну цену за свежего и за тухлого.

***

За поминальным обедом гости говорили о превратности человеческой жизни. Выражали семье покойного свое соболезнование,

— Погубила водка человека, и умер он недостойно хорошей семьи.

Однако, все вежливо желали, чтобы покойный попал в царство небесное. Но подвыпивший старик Лазарев говорил:

— Осрамил, мерзавец, на старости лет!

Старик стал усердно пить, чтобы залить горе.

При прощаньи гости еще раз выразили свое сочувствие хозяевам, долго пожимали старику руку, а он только отмахивался и повторял, плача пьяными слезами:

— Осрамил на всю жизнь, осрамил.

***

Прошло недели две. Старик Лазарев на службе разбирал письма, аккуратно раскладывал по отделам, вскрывая служебные и откладывая частные.

В одной пачке писем он нашел открытку на свое имя. Перевернул и прочел:

„Дорогой папа!

Извини за беспокойство. Я нахожусь теперь в загородной больнице и лечусь от запоя. Последние мои похождения окончились очень печально,— я растерял свое платье, и по окончании лечения мне будет стыдно показаться в город. Пришли, пожалуйста, немного белья и мой старый костюм.

Привет маме. Поцелуй ее и попроси от моего имени прощения за все неприятности, которые я причинил ей. Прости и ты. Надеюсь после лечения зажить новой жизнью.

Твой Коля".

Старик потер лоб, посмотрел на число, выставленное в письме, прочел еще раз,— пишет Николай, и письмо шло всего два дня.

Значит, он жив? Кого же хоронили? По ком пели погребальные песнопения? Старик хотел бросить работу и пойти домой, чтобы поделиться новостью с женой, но, боясь испугать ее неожиданным сообщением, решил остаться до конца занятий.

Дома после обеда он осторожно завел с женой речь о Николае и сказал в конце беседы:

— Мне кажется, Николай жив.

— Что ты, в уме? А кого же мы хоронили?

— Меня берет сомнение,— ведь мы хоронили сильно разложившийся труп.

— А документы?

— Ну, глупо человека узнавать по документам только.

Жена насторожилась, почувствовав, что дело неладно.

— Почему ты вдруг заговорил об этом?



Перевернул открытку и прочел.

— Да мне кажется, повторяю, что наш Николка жив.

— Не тяни, в чем дело?

Старик рассказал про письмо. Старуха не верила своим ушам:

— Покажи письмо

Читая письмо, она смеялась и плакала:

— Коля жив, а я то и не чувствовала этого. Плакала на чьих-то похоронах. Поедем сейчас же в больницу, сейчас же, немедленно,— слышишь?

— Уже поздно, никто нас не пустит в больницу. Поедем завтра.

— Мать да не пустят? Едем.

Многих усилий стоило старику уговорить ее отложить поездку до утра. Старуха не спала всю ночь, ворочаясь с боку на бок, что-то шептала и плакала.

***

Поднялась она ни свет, ни заря, отыскала старое платье сына, напекла его любимых пирожков и начала торопить мужа. Старик написал в контору записку, в которой сообщал, что по важным семейным обстоятельствам не может явиться на работу.



Старики не верили своим глазам.

До больницы было верст десять. Дорога показалась им необычайно длинной. Они торопили извозчика и обещали ему прибавить за скорость. Старуха поминутно высовывалась из экипажа и смотрела вперед.

Когда Николай вышел в приемную больницы, старик не верил своим глазам:

— Коля, ты жив?

— Жив, как видите, и здоров. Скоро совсем вылечусь и больше пить не буду.

— А ведь мы тебя похоронили!

— Как *похоронили?*

Они рассказали ему происшествие с покойником.

— Да ведь документы, в самом деле, я кому-то передал за пьянкой, чтобы не потерять. А кому именно,— не помню.

***

Появление Николая на улице произвело большой переполох: „мертвец" шел, как ни в чем не бывало, по улице и вежливо кланялся знакомым. Торговка Авдотья, выглянувшая на улицу, сотворила крестное знамение, отгоняя навождение. Сын сапожника, Витька, влетел в комнатку и, задыхаясь от страха, пропищал:

— Покойный Николай пришел домой.

Получив от отца затрещину, он заорал во все горло:

— Да я сам видел! Он мне погрозил пальцем, а я убежал.

Сапожник выбежал на улицу и увидел Николая.

— Здорово, Василий. Зайди ко мне,— надо починить ботинки.

Сапожник присел, потом юркнул во двор и запер калитку на засов.

— От кого ты запираешься?—спросила его жена.

— Николай Лазарев пришел домой и говорит мне: — зайди, надо, мол, починить ботинки.

— Ты с ума сошел? Нагрузился? Допился до покойников, мерзавец,— заголосила баба.

— Тише, ты, дура. Верно говорю,— сам видел.

Скоро перед домом Лазаревых собралась большая толпа. Старик вышел на крыльцо и, как с трибуны, поведал народу истину о воскресшем сыне.

***

Началась для Николая новая жизнь. Началась с мучений:

Пришел он на службу и явился в кабинет директора. Перепугал его на смерть.

— Здравствуйте. Я долго не был на работе. Был болен. Теперь здоров. Позвольте приступить к занятиям.

— Как? Что? — начал приходить в себя директор: — да ведь вы умерли. Мы вас исключили из списков.

— Вышло недоразумение. Я, как видите, жив.

— Ничего не могу поделать,— место занято,— сухо сказал директор, уже оправившись.— Подайте заявление о том, что желаете служить. Когда будет свободное место—примем.

— Дайте хоть выходное пособие, пока я найду работу,— деньги пригодятся.

— Какое же выходное пособие? Мы ведь вас не увольняли, вы сами умерли,— виноват,— спутались. Под какую же статью я подгоню это пособие? Не могу, не могу.

Кинулся Николай в союз за защитой своих интересов, а там говорят:

— Мы вас исключили из числа членов. Как же будем вас защищать?

— Ну, отметьте в делах, что произошла ошибка.

— Не знаю, как быть,— обсудим на заседании правления.

Понадобилась Николаю какая-то справка. Нужно было удостоверение из участка.

— Не можем дать,— вы не числитесь по домовой книге. Видите, в графе „Выбыл и куда“ написано —„умер“.

— Ну, тогда пропишите меня снова.

— Как же вас прописать? Написано ведь —„умер“. Если прописывать, то придется заполнять графу „Откуда прибыл“, а как вы ее заполните?

— Укажите, что произошла ошибка.

— Мы не имеем права делать такие поправки.

— Но я же жив? Говорю с вами?

— Очень приятно, но ничего сделать не могу. Принесите удостоверение.

— Какое еще удостоверение?

— Удостоверение, что вы не умерли, а произошла ошибка.

— Да перед вами живой человек.

— Мало ли что живой!

— Чорт знает, что делается!

— Вы не выражайтесь, пожалуйста!

— Выходит, что надо иметь новую метрику. Кто же мне ее даст?

— Это нас не касается.

***

— Страхкасса пред'явила иск к Лазаревым, требуя обратно деньги, отпущенные на погребенье Николая.

Старик пошел об'ясняться:

— Произошла ошибка в больнице. Мы же не виноваты?

— Раз взяли деньги на похороны сына, так и должны были его хоронить, а не кого попало. Может покойник-то и не был застрахованным. Нужно разбираться,—загорячился служащий, но, спохватившись, пожал плечами и улыбнулся:

— Да, положеньице! Не знаю как и быть. Обсудим в президиуме и, может быть, спишем.

— Будьте любезны, а то придется мотаться по судам.

— Вы принесите справочку, что ваш сын жив.

— Да ему нигде не дают. Наказанье какое-то право. Боюсь, что он опять запьет. Вот заварил кашу!...

Вен. Павлович.

„УСОВЕРШЕНСТВОВАННАЯ“ САМОКРИТИКА.

В некотором городе, в тридесятом учреждении жил был некоторый начальник, и было у этого начальника полсотни подчиненных.

И вот однажды этот самый некоторый начальник собрал своих подчиненных и сказал им такую речь:



И даже самого... меня.

— Товарищи, до сведения моего дошло, что по всей нашей стране об'является кампания самокритики, не взирая на лица. Знаете ли вы, что это обозначает? Это обозначает, что вы имеете право критиковать любое ответственное лицо вверенного мне учреждения.

— Любое... и Прохор Петровича?—прошелестели служащие.

— Да, и Прохор Петровича, и Савелия Трифоныча, и даже самого... меня.

—Ва-ас?—ахнули подчиненные.

— Да, и меня. Больше скажу,—вдохновился начальник,—критиковать меня можете резко, громким голосом и с самым независимым видом. В стенгазете про меня писать разрешаю на все время самокритики, заходить ко мне на дом разрешаю тоже на весь этот период. Итак, товарищи, жду самой резкой и суровой критики, с каковой целью завтра же прикажу снять с двери своего кабинета надпись: «Без доклада не входить», и запрещаю своему курьеру спрашивать входящих о их социальном положении и профессии их бабушки до венгерской революции.

Служащие разошлись совершенно ошеломленными, и в эту ночь никто из них не спал.

На другое утро, до прихода начальников, служащие собрались на совещание и стали обсуждать создавшееся положение.

Все пришли к тому убеждению, что предложение начальника невыполнимо

— Да вы поймите, товарищи, ну как я могу, например, выразить недовольство по поводу безобразного отношения к делу Марьи Петровны, ежели она его свояченица?—говорил один.

— Попробуй-ка не поднять ему карандаш, если он его во время разговора с тобой уронит,—говорил другой.

— Пусть-ка попробует чья-нибудь жена поругаться с его кухаркой в очереди,—говорил третий.

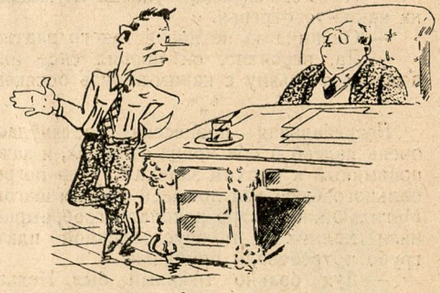
— И потом, все это хорошо, товарищи, ну, скажем, выполним мы его требования на сто процентов, будем ему говорить правду, будем непочтительны с его родственниками, пропишем его в стенгазете,—сказал старый, умудренный опытом, регистратор Поджилкин,—а что будет, когда кампания кончится?.. И Поджилкин хитро прищурился.



Я берусь это сделать!

— Нн-да-а!—протянули многозначительно служащие.

— Будет то же самое, товарищи,—пророчески вещал Поджилкин,—что произошло с некиим котом в сказке Жуковского. Этого кота, товарищи, тоже вот так, как и нашего, обуял дух самокритики. Притворился этот кот мертвым, вылезли из всех щелей



Вы, наверное, до того оторвались от масс, что и сахар-то размешать не умеете. Давайте уж я...

мыши и пошли его чесать по косточкам лихие ораторы, взобравшись на его брюхо. Чесали его, чесали, а он и проснись...

— Довольно, довольно,—замахали кругом,—все понятно!

— То-то же,—пробормотал Поджилкин.

— Но как же быть, все-таки... ведь, распоряжение-то выполнить все-таки надо,—зашумели кругом.

— Я берусь это сделать,— выступил щуплый человечек—конторщик Пятколизов.

— Ты—Пятколизов.. да ты никак обалдел? Ведь ты же у нас первейший подхалим. Таких трусов и подхалимов, кажется, еще свет не родил.

— И все-таки я за это дело берусь...

— Да ведь выгонят тебя так, что костей не соберешь...

— А вам-то какое дело?

— Ну, шут с тобой, валяй!

На том и разошлись.

Через час, когда начальник проследовал в свой кабинет, Пятколизов вдруг встал со своего места и твердым шагом направился к двери начальника.

Всех невольно пробрала дрожь.

Пятколизов смело повернул ручку и вошел. Курьер, стоявший у двери, не пошевельнулся.

— Нам надо бы устроить, Федор Федорович, общее собрание,—громко сказал Пятколизов.—Я считаю в связи с кампанией самокритики эту меру необходимой.

— Так, ведь, на это же есть местком.

— При чем тут местком, чего вы мне месткомом тычете? Вы тут хозяин, или нет? Нечего очки-то втирать! Будьте любезны распорядиться о созыве собрания и больше никаких.

— Орет-то как...—шептались сгрудившиеся за дверью служащие,—батюшки, святые угодники, смельчак-то, оказывается, какой!

— И потом, что это за безобразие,—продолжал Пятколизов, поднимая обронен-ный начальником карандаш,—разве можно так бросаться народным достоянием. И потом, разве вам неизвестно, как дорога сейчас мануфактура,—строго прикрикнул он,—стряхивая пыль с начальнических штанов,—а у вас вон грязь какая.

В этот момент появился курьер с чаем.

— Пора бы отказаться от услуг, Федор Федорович, на десятом году революции,—продолжал суровый критик, схватывая с подноса стакан и ставя его перед начальником.

— Вы, наверное, до того оторвались от масс, что и сахар-то размешать не умеете. Давайте уж я.

Когда начальник хотел было послать с курьером жене деньги для покупки продуктов на обед, Пятколизов грубо схватил трехрублевку и пробурчал:—нечего отрывать людей от дела. Уж, так и быть, я сам снесу.

— Калоши, вот, тут вам жена прислала,—сурово буркнул вернувшийся через час Пятколизов, ставя около начальника пару калош.—Сносите этак ботинки в один месяц, а потом вам жалованье прибавляй.

А потом, эту Марью Петровну необходимо снять с должности...

— Как снять?—вытаращил глаза начальник.

— Ну, конечно, снять. Я, ведь, милый мой, понимаю ваши фокусы, вы ей, как свояченице, хотите полегче работу дать... дудки-с... я на общем собрании решительно потребую назначения ее личной секретаршей. С таким, как ее, образованием мариноваться на маленькой должности—саботаж!

Через неделю Пятколизов был повышен на два разряда и ему иногда даже разрешалось сидеть за столиком для самовара в кабинете начальника.

После этого, проходя по учреждению, Пятколизов высоко поднимал нос и раскланивался только с завотделами.

Задание было выполнено.

В. Питерский.

КАК Я РЫБУ ЛОВИЛ.

У-у-у-тро! Не утро—стихотворение!

Вверху—небо. Внизу—земля. А передо мной—пруд.

Вы знаете, что такое пруд?

Это такая большая глубокая земляная тарелка, а в ней не суп а-ля-пейзан, а вода.

А в воде рыба, раки.

Мое задание, как рыбака, поймать эту рыбу, а если повезет, то и рака.

Это одно.

А второе—получить от всего этого: 1) удовольствие, 2) отдых душе моей, распахнувшейся и 3) уху из свежей рыбы.

Для этого я взял с собой:

а) Обязательное постановление (правила, как ловить рыбу).

б) Сантиметр.

в) Циркуль.

г) Зонтик (солнце!).

д) Картонку, в которой уместились: полдесятка тарани, бутылка перцовки (довоенного качества!), 2 ф. хлеба и еще кое-что.

е) Удостоверение личности.

ж) Учетную карточку.

з) Удочку.

и) Жену.

Все, значит, что полагается.

Закинул.

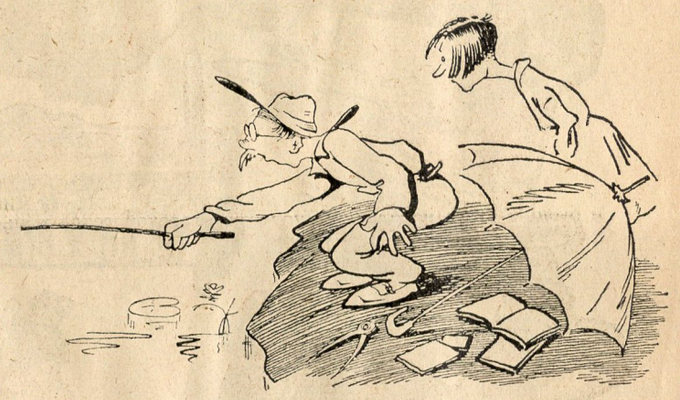
—Что, дядя, клюет?

— Проходи! Проходи! В свое время клюнет.

Ушел. И уже издалека слышно:

Удит, дядя, удит,
А ужинать что будет?

— С м е й с я,— думаю,—смейся!



Первые два часа упорно смотрю в пруд и думаю...

Первые два с половиной часа упорно смотрю в пруд и думаю: «Вот, поглядите на кислород с водородом, какое-нибудь H_2O, а сколько рыбы у него. А я, можно сказать, человек и хоть бы тебе паршивенькая плотичка...

Как вдруг: прыг-прыг-прыг! Поплавок!

— Есть! Ага! Лови, женушка, лови, ловилови! Держи! Поймала?

— Есть.

— Карасик? Давай сантиметр. Давай циркуль. Давай обязательное постановление. Как там сказано? «Карась не менее, как 3 вершка. Мерять от середины глаза до заднепроходного плавника». Ладно. Ищи глаз.

— Есть.

— Ищи середину глаза. Нашла? Ставь сантиметр. Та-а-акс! Держи. Ищи заднепроходный плавник.

— Я не знаю, где.

— Ищи сзади! Раз заднепроходный, значит сзади. У прохода. Нашла?!

— Да нет его.

— Зоологию забыла? Чему только вас учили в этих гимназиях? Давай сюда.

— Ой! уже!

Что уже?

Выпрыгнул в воду. Вот-вот-вот! Поплыл.

— Вот еще! А еще на курсах была. В губпродкоме служила! Рыбы удержать не можешь!



Для этого я взял с собою несколько предметов...

... Прыг-прыг-прыг! Поплавок

— «Прочая рыба»? Сколько там для «прочей» указано?

— Три вершка.

— Давай сантиметр. Глаз есть. Ну, поворачивайся, прочая! Где тут у тебя заднепроходный плавник? Нет! Смотри, нет плавника! Щука от'ела. Как же теперь?

— А я не знаю.

— Выкину. Иди назад, в пруд. Плавают тут без «заднепроходных». А потом отвечай.

О-о-о! Рачек! Иди, иди, иди! Ну, смотри, как там раки? Как их мерять?

— 2 вершка. От конца головы до конца хвоста.

— Давай сантиметр. Начнем с головы.

— Да ты с хвоста начинаешь.

Как с хвоста? Это же «шейка», а на шее—голова.

— Это же хвост, а не шея. Сам ничего не знаешь, а ругаешься.

— Не все ли тебе равно — от хвоста до головы мерять или от головы до хвоста?

— Ну?!

— Вершок и семь восьмых! Ступай к чорту! Плыви! Не мог на несчастную восьмушку вырасти! А тоже, лезет.

... Идем домой!

О. Вишня.

СОЛНЦЕ, ВОЗДУХ, ВОДА— лучшие наши друзья.



Все трудящиеся Тулы — взрослые и молодежь — в свободное время стремятся на воздух, на солнце — в поле, лес, сады и к реке. Детская неделя, спортивная неделя, вылазки на воздух в Туле проходили оживленно наперекор дождливой погоде.

Издатель — газета „Коммунар".

Редакционная коллегия { М. Колябская, С. Корнев, С. Дмитриев, А. Медведев, В. Старцев.

Гублит № 661. Типография Тулпечати—Тула, ул. Коммунаров, 42. Зак. № 2882 Тираж — 5000 экз.